

Ирина Листвина
Гербарии,
открытки...



Ирина Листвина
Гербарии, открытки...

«Геликон Плюс»

2016

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Листвина И. И.

Гербарии, открытки... / И. И. Листвина — «Геликон Плюс»,
2016

ISBN 978-5-93682-889-8

История школьницы, в 1950-е годы попавшей в беду из-за недолжного
высказывания об И. В. Сталине.

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-93682-889-8

© Листвина И. И., 2016
© Геликон Плюс, 2016

Содержание

Вступление	6
Из Екатерининского сада. (Включая «Семейные истории и фотографии»)	10
Глава нулевая. Вечером после Парада Победы (Странное раннее воспоминание)	10
Глава первая. О зиме 1952–1953 годов и её продолжении. О первой серьёзной беде и о некоем памятнике (А также и о взбесившейся нянечке Алевтине)	12
Глава первая. (продолжается бегом, чтобы поскорее кончиться, да только это у неё не получится)	23
«Семейные истории и фотографии» (О семейном укладе и о наших «домах» в коммуналках)	25
Рассказ первый. Снимки дедушки и его домашнего уклада (а заодно и о моём раннем детстве)	26
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Ирина Листвина

Гербарии, открытки...

© И. И. Литвин (И. Листвина), 2016

© ООО «Реноме», 2016

* * *

Вступление

1

Когда автор говорит от собственного лица, то иногда это лишь псевдоним «я», а иной раз лицо это условно и неполно (хотя постепенно восполняется), да и за давностью лет оказывается даже и не вполне существующим.

«Я, я, я! Что за дикое слово! / Неужели вон тот – это я?»¹ – в этих строках В. Ходасевича выражено нечто более сильное, чем сомнение, но только не в реальности того, что он был когда-то тем мальчиком, а затем и юношей, «в Останкине летом танцевавшим на дачных балах», и едва ли сомнение в том, что он это своё «я» помнит. Нет, дело скорее в том, что такое я постепенно само становится образом, а в какой-то мере и псевдонимом.

Но в литературе есть и другие «герои – псевдонимы», они требуют маски или иного дополняющего их образа, они немного похожи на платье, облегающее стройную как манекен и слегка условную фигуру.

«Я» по сравнению с ними подобно дорожному плащу свободного покроя: не нужно ни представлять немедленно лицо, о котором идёт речь, ни описывать его внешность, характер... всё это выявится со временем, складываясь из чёрточек и мелочей.

В жизни, говоря «я», мы, как правило, выдвигаем себя на передний план, но при этом нас видят и слышат со стороны. Персонаж «я» в качестве героя произведения, казалось бы, и говорит-то в первую очередь о себе, но раскрывается, «расстёгивает и снимает свой плащ» медленно и при этом порой отодвигает свой образ на задний план.

Если вернуться всё к тем же строкам Ходасевича, то не секрет и то, что почти все люди находятся в не совсем простых отношениях со своим отражением в зеркале. Но то я, о котором идёт речь, – и не отраженье, ведь взрослый давным-давно выглядит иначе.

Многие его в этом я и вообще не узнали бы. Но... тем не менее Гюстав Флобер не солгал, сказав свою знаменитую фразу «Госпожа Бовари – это я», (точнее, мне так кажется. Иными словами, я, в отличие от вас, читатель, почти в этом не сомневаюсь). Он *не* был женщиной, он был намного старше, и этим далеко не исчерпывается его несходство с прелестной и незадачливой героиней, но при всём том он имел бесспорное, хотя и несколько странное право на отождествление себя с ней.

Бывает и проще – например, известно, что написав в романе о самоубийстве Мартина Идена, Джек Лондон сам всего лишь перебрался в другой, значительно менее провинциальный город. Обрыв биографии, разрыв с бывшими друзьями – всё это оказалось не столь трагичным, как в романе, но это ничуть не умаляет его автобиографичности.

Никто не лжёт, «всё это правда», не правда ли? Жизнь можно рассказать правдиво с точностью вплоть до фотографического снимка, но при этом сама она так эпизодична, подвижна, преходяща и неожиданна, что остаются живыми главным образом те эпизоды, а в них те мгновения, которые были памятью и впрямь как бы сфотографированы (как вспышкой) так, что от каждого из них осталось несколько моментальных любительских снимков. И вообще не приходится говорить об их точности и реализме, хотя что, казалось бы, может быть объективнее их?

Вспышка – раз, два, три... Вот и всё, а сколько пропущенного осталось за кадром?.. Но никто не был волен в своём выборе, да и всегда ли нужно при этом ссылаться на существо столь

¹ Из стихотворения «Зеркало» (1924).

капризное, своевольное и явно принадлежащее к высшим мирам, как (например) упоминаемая Набоковым Мнемозина?

2

В описываемую эпоху, ныне исчезнувшую (так быстро, так бесследно) и оставившую нам от себя только ряд странных предметов – бытовых приборов? Их, пожалуй, так уж и не назовёшь (из пластмассы, металла, проводки etc., уже не годных к употреблению)... итак, в описываемую эпоху в каждом «доме», состоявшем, как правило, всего лишь из одной коммунальной комнаты, на стенах повсеместно висели фотографии и любительские фотокарточки. В домах попроще, в сельских, они занимали целый уголок на стене, снимков было много, некоторые (особенно военные) были до такой степени любительскими, что только близкие ещё могли различить и узнать тех, кто существовал уже только на них, и притом в слишком сильно засвеченном и мимоходном, почти спектральном² виде.

В домах городских, особенно «поинтеллигентней», таких уголков на стенах не то чтобы не водилось, но они были меньше и предпочтение отдавалось фотографиям в аккуратных рамках, порой и фотопортретам хорошего качества, а любительские снимки и всяческие дополнения к тем, которые были на виду, хранились в толстых семейных альбомах. Неужели дела обстояли так, что стены было нечем больше украсить (безделушками, эстампами, растениями, – как это было всегда) и поэтому их вынуждены были увешивать этими снимками? Да нет: трофеев и «гостинцев» из Германии было достаточно, палехская и прочая изобразительно-поделочная продукция была куда доступнее, дешевле и ничуть не хуже, даже качественнее, чем многие годы спустя, да и репродукции известных музейных картин (от Русского музея и до Дрезденской галереи) были не такого плохого качества и доступны по цене... Отчего же вкус того времени остановился именно на фотографиях?

Мне ответят: «Кто спорит о вкусах, да и стоит ли говорить о них, у всякого времени – свои».

Да, но всё же я осмелюсь предположить, что вкус этот не был случайным. Что время – в первую очередь в России, но и не только в ней – с начала первой половины XX века постоянно испытывало на себе глубокие переломы с интервалами приблизительно в 20 лет. И что после каждого такого перелома ли, перевала множество людей (да и некие совокупности вещей, им принадлежавших или с ними как-то связанных) исчезали почти насовсем или рассеивались по белому свету.

Те же, кто оставался, кто не исчез, кто продолжал жить по прежним адресам – то ли просто чудом, то ли потому, что не имел ни веса, ни значения в общественном смысле, – что эти уцелевшие могли противопоставить беспощадным каменным потокам (да что там! Обвалам) времени? Только лишь эти картонные щитки (а кто знает, быть может, и надёжные *щиты*?) из фотографий, хранивших не только вечные тени близких, но и целые миры, уже едва ли распознаваемые и почти ничего не говорящие постороннему взгляду.

3

...Отчего же – гербарий, а не фотоальбом? В гербарии, в самой его идее заложен некий принцип точной и быстрой фиксации жизни в её преходящей мимолётности. В нём к тому же имеются подробные надписи и краткие описания (здесь – отступления, остановки), сделать которые владельцы фотоальбомов как-то обычно не удосуживаются... Да, и ещё – «цветок

² В смысле ином, чем научный и общепризнанный, – «призрачном виде» (от одного из значений слова spectrum, лат.)

засохший, безуханный»³, и ещё – застывшие в своём быстроекрылом трепете бабочки (всё же знак Мнемозины?), всё это стародавнее, от Пушкина и далее, до Набокова... всё та же несчастная, потому что обречённая (особенно же только что минувшим веком) попытка сохранения преемственности и неразрывности во времени, состоявшем сплошь из разрывов.

Да и конечно же, при всей своей случайности, принцип создания гербариев всё же, пожалуй, ближе к систематике групп, к последовательностям. И тем самым – к идее восстановления всё той же преемственности, в том числе и в литературе.

Фотоальбомы же создавались владельцами, как правило, отнюдь не творчески, бездумно, к тому же были слишком уж личной собственностью, подобно тем, девятнадцатого столетия, старинным альбомикам с рисунками и стихами, (вспомним случай, описанный Достоевским в романе «Подросток», когда (играя в будущего «идейного» ростовщика) юный герой покупает такой «дрянной альбомик» за бесценок, а уступает с немалой прибылью – так как находится человек, для которого он содержит воспоминания, являющиеся именно его личным достоянием).

Итак, слишком уж личное, нерасшифрованное, даже как-то и нарочито недоступное содержание фотоальбомов, с их принципом беспорядочного накопления снимков... Нет, хотя это сюда, пожалуй, и подходит, но лишь в качестве недостижимого идеала и остановимся пока на гербариях.

И вообразим, что то, что находится в данном вымышленном гербарии, в его плотных и объёмных ячейках из уже посеревшего (а прежде белого) картона – это всё те же миниатюрные, как бабочки и цветы, нередко чёрно-белые, но иногда и цветные микроснимки. Нет, не напоминающие слайды, а явно сделанные любительской рукой и не имеющие, в отличие от последних, никакого отношения к красотам общеизвестных мест, таким как виды нашего города... А также и мест иных, но – всё равно и тем более – похожих на туристические достопримечательности.

Нет, данные гербарии и открытки (да и прочая мишура) всего лишь любительские коллекции из области воспоминаний....

4

Проза (рассказ ли это, повесть или роман) всегда сюжетна и тем самым динамична. В наши дни она становится всё более остро- и стандартно сюжетной, едва поспевая за газетной хроникой всё ускоряющихся событий. И всё более напоминает этим немое кино перед Первой мировой, кино всегда стремительное, с прыгающими, скачущими и скользящими кадрами. К тому же, если уж продолжить сравнение с кинохроникой, всё то, что мы видим, едва помещается на экране, ставшем до некоторой степени объёмным. Иначе говоря, его объём просто переполнен, особенно если принять во внимание всё то, что, оставаясь за кадром, как бы рвётся попасть в него.

...А фотографии памяти остаются плоскими (то есть по сути дела бессюжетными), в отличие от кино и цветных снов. Правда, иногда, когда они, повторяясь, как бы накладываются одна на другую, но при этом не тождественны, а в чём-то восполняют и «продвигают вперёд» одна другую, то возникает некий слабый стереоэффект. К тому же появляется окрашенность и даже красочность – так возникают открытки. Но и это лишь эпизоды, они кратки и бессюжетны. Точнее, сюжет не зафиксирован, рассредоточен, и поэтому их приходится дополнять надписями, словесными зарисовками, отступлениями etc. Бывает (но редко) и так, что этот стереоэффект повторения (самого любимого!) усиливается настолько, что мы попадаем в мир не менее объёмный, чем мир окружающей нас реальности или кино. Но всё равно – это фото-

³ Из стихотворения А. С. Пушкина «Цветок» (1828).

графии, (такие стереографии в семидесятые годы точно существовали – они были заключены в пластмассовые непрочные шары, точнее, шарики. Посмотришь внутрь и видишь всё совсем как живое и всё же застывшее, как в воске). Но эта замкнутость, статичность... поневоле приходится прибегать к описаниям и размышлениям, а порой и вводить в повествование элементы вроде мультипликации, – так как мы ведь всё время находимся в поиске необходимейших фотографий. А значит, и в постоянной опасности того, что масса других, ненужных, а порой и непроявленных, просто засыплет нас... и мы окажемся в недрах, в безвыходной глубине горы.

5

И наконец, это повесть о детстве, но не для детей (хотя из неё при желании можно выкроить небольшую книжку для среднего школьного возраста), а скорее уж для тех, кто «родом из детства» и признаёт для себя справедливой сентенцию Т. С. Элиота «В моём начале мой конец⁴».

Она о детско-отроческой памяти и ностальгии, но не то чтобы по времени, пространству и антуражу описываемой эпохи – нет, скорее просто по тропинкам детства. И ещё она о вираже, поворотном, головокружительном и непонятном, совершённом страной именно на этом, достаточно тёмном и сжатом отрезке времени.

Хотя в ней и присутствует кто-то (или скорее что-то) вроде измельчавших потомков, отголосков и обмолвок Мнемозины, от неё не приходится ожидать сведений ни о славных или чем-либо выдающихся предках, ни о российском «Титанике» с его обилием канувших в Лету (и ставших музейными) экспонатов, ни, тем паче, – о малых эрмитажах поместий... Да, собственно, и о руинах, которые от всего этого остались и из которых (в частности, на протяжении пятого и шестого десятилетий двадцатого века) обыватели строили маленькие, временно уцелевшие плоты своих не слишком осложнённых бытом существований.

Она просто о людях и времени, которые почти забыты (а следовательно, и искажены); заслуженно или нет – это не столь важно.

Что до первого отрезка описываемого времени (годы 1950–1954-й), то его как бы и не бывало, от него резко отмежевались и постарались забыть, не проводя при этом никаких чётких границ. И он остался в нас блуждающим, как своевременно не удалённая пуля, а в окружающем нас мире – как мина, затонувшая в болоте, но в нём (и с ним вместе) плывущая, чтобы выплыть неизвестно где и когда.

Вторая же его часть, годы 1955–1960-й, более всего напоминала медленно всплывающий, всеобщий спасательный круг чуть ли не космических масштабов. Это время явилось для нас, в нём выросших, как бы началом своего рода «прекрасной» и неосуществившейся, оборванной эпохи (*belle époque*⁵), в этом-то и состоял парадокс немыслимого виража. Но и от второй половины (быстро свернувшейся) точно так же отмежевались впоследствии, давно уже поставив построенные ею космические корабли (а заодно и прогулочные катера, созданные из обломков упомянутого российского «Титаника») в скучные провинциальные музеи. И точно так же постарались её забыть, как и первую... Но так как она была всего лишь «неудавшейся попыткой», ничего особенно несправедливого в этом, быть может, и нет.

Итак, о двух половинах 1950-х годов, – но скорее всего лишь о глазах несчастно-счастливого ребёнка, а затем и подростка, свидетельствующих о них обеих.

⁴ В подлиннике: «In my beginning is my end».

⁵ Прекрасная эпоха (*франц.*).

Из Екатерининского сада. (Включая «Семейные истории и фотографии») Вниз по течению – в лагеря

*Ребёнок спал, покуда граммофон
Всё надрывался «Травиатой».
Под вопль и скрип какой дурманный сон
Вонзался в мозг его разъятый?*

В. Ходасевич

Глава нулевая. Вечером после Парада Победы (Странное раннее воспоминание)

Это – моё самое радостное и уникальное воспоминание, но в то же время оно и вообще им не является. Оно не обладает достоверностью и гораздо ближе ко сну, к простой детской сказке, рассказанной няней или бабушкой. (Обе бабушки мои – их не стало во время войны, а вместо няни иногда приходила посидеть дворничиха тётя Шура с рябым квадратным лицом.) Дело в том, что это, и сказать-то совестно, воспоминание ребёнка, которому тогда был один год от роду. Оно, строго говоря, не обладает даже и реальностью. Оно – как нефокусированное золотое пятно, как облака, из которых прерывисто вылетают огненные дивноцветные птицы Салюта. И всё же я что-то не до конца мне понятное (неправда, понятное!) очень хорошо помню.

Это был самый огромный из всех праздников на свете. Странные великаны окружали меня: не нарядные (то есть нет:, сколько угодно шифона и крепдешина, единственных туфелек, парадных форм; ну а рядом – сколько стёртых сапог, изношенных шинелей, стареньких платьев с чужого плеча) – но кто же думал об этом?

Все они были так молоды и счастливы (в том числе пожилые) – герои, вернувшиеся к нам с войны в день Победы.

Но впрочем... Так молоды? Да, поразительно молоды: вспомним героев тогдашних кинолент – это была особая молодость людей, ставших взрослыми внезапно и как правило, в 14–15 лет. Молодость не припудренная, как у петиметров⁶, а запылённая сединой, обветренная каким-то особым гримом усталости, мороза, пороха и стойкости, огрубевшая, но оттого ещё более юная.

Я так и не смогла поделить этих охмелевших от счастья великанш и великанов на своих, с одной стороны, пап и мам (моим было под тридцать), а с другой – на старших братьев и сестёр. И это осталось на всю жизнь. Добавлю в скобках, что, может быть, из-за тогдашней нашей (малышней) нерешительности на этот счёт они так долго и впрямь были молоды.

А впрочем... охмелевших от счастья? Да, я никогда потом не встречала более счастливых людей, но счастье это было не таким уж и простым, в глубине их глаз продолжали бежать киноленты воспоминаний о боли перенесённых и причинённых потерь и утрат, о чуде жизни, падавшем им каждый день (да что там день – миг!) на ладонь наподобие орла или решки... И так – много, много дней...

⁶ Петиметры – щёголи XVIII в. в напудренных париках.

Зачем же я пишу об этом? Об этом в прекрасной песне «День Победы» сказано гораздо короче и лучше. Да и что могла я понимать? Очень небольшое и только самое главное.

Дворцовая Площадь кружилась, все танцевали какой-то всенародный Вальс, плакали, обнимались и расставались, и шли вразброд, а кто-то и наугад, ничего не видя от слёз и зная, что всех потерял и всё надо начинать сначала. Но всё танцевало и тонуло в золотом облаке первозданного счастья (Золотой век? Так вот какой он!), в петергофских небесных фонтанчиках Салюта.

В городе ещё (уже?) *почти не было ни младенцев, ни кошек, ни собак*. И все тоскливо помнили – почему. И каждое такое существо, в особенности же младенец – Малыш! – бурно приветствовалось. Сколько раз меня поднимали на руки, подбрасывали, целовали, отрывали от папы – да я ведь всего этого терпеть не могла по своей природе недотрожки⁷. Но им было можно. И более того, в тот День это было величайшим счастьем незаслуженной, полученной авансом всеобщей любви. Да, так это и запомнилось: как величайшее счастье – на всю доставшуюся жизнь... Как будто все они, пришедшие и не пришедшие, вернувшиеся и не вернувшиеся, показали нам, малышам, как они любят нас и велят жить долго. Долго и счастливо. Да! «Только, дорогие, уж как получится», – следовало бы сказать в ответ, будь я хоть на несколько лет разумнее.

Но были и прекрасное мгновенье, и детский сон (ведь была я на Дворцовой совсем недолго, меня унесли домой спать), а произошло всё же *То*, что запомнилось мне навсегда и невзирая ни на что.

Навсегда, на ту жизнь, в которой мне потом нередко (и давно уже взрослой, и ещё не взрослой) приходилось ощущать себя той незадачливой фигуранткой тяжбы «Джарндисы против Джарндисов» (из романа Диккенса «Холодный Дом»), у которой иногда «в голове немного путалось».

...Да уж, как именно кому из нас, немногочисленных малышей, побывавших на этом Празднике, довелось начать жизнь в разрушенном изнутри, запустелом и подобным эху бывшего городе – это совсем о другом. О другом – гадкого утёнка – возрасте, о послевоенном, позднесталинском времени.

И о множестве эпизодов, оставшихся в памяти разорванными: например, об огромных крысах в ночной необитаемой (и тоже в своём роде огромной) коммунальной кухне (мне три-четыре года). И о худой кошке – да что там! кошчонке, а не кошке, – обыкновенной чернявенькой Мурке, которая почему-то в этом остатке «людоедства» прижилась и страшных зверей выгнала. И стала вдруг чёрно-белой, миленькой, стала заводить котят, и их не топили, не гнали, нет, а вот только мы, дети, порядком их мучили. И добро не побеждало и не торжествовало – о нет (оно от этого быстро отвыкло)! А приживалось с горем и злом пополам в полумёртвых, медленно выздоравливавших домах и дворах на нашей Владимирской площади...

Но начиналось-то – с Парада Победы!

⁷ Недотрожка – детски уменьшительное от недотроги.

Глава первая. О зиме 1952–1953 годов и её продолжении. О первой серьёзной беде и о некоем памятнике (А также и о взбесившейся нянечке Алевтине)

Екатерининский сад тогда принадлежал прежде всего детям и наблюдавшим за ними со скамеек бабушкам, своим и чужим, ещё – крайне немногочисленным няням да, пожалуй, время от времени расчищавшим сад от снега людям в ватниках. Зима была снежная, а сад в тот день – заснеженным на удивление. Рядом, в двух шагах, во Дворце пионеров (бывшем Аничкове) одарённые дети и их искусные ловцы и водители, замечательные педагоги создавали кружки, эти яркие, театральные и весёлые дополнения к сероватой и угрюмой, в общем-то, школьной жизни.

Огромные окна дворца начинали светиться зимой с трёх часов дня, вызывая у меня возбуждённо-мечтательное желание: воспарить, разбежаться и оказаться вдали – одним прыжком (в высоту и в длину).

Впрочем, в тот день моей целью, явной и тайной, как у всех нас, был цоколь памятника. Мне было тогда восемь с чем-то лет, но... Да, некое «но» имелось, и было оно с большим подвохом. Я была очень высокой для этого возраста девочкой, «папиной дочкой» (рост отца был более 190 сантиметров, а мой – почти 160.). Не ощущая себя недорослем, во всяком случае по параметрам, я стремилась попасть будущей осенью в литературный кружок в этом здании. Те, кто причислял меня к великовозрастным дылдам, глубоко ошибались. Меня взяли в первый класс в 6 лет, как умеющую читать, писать, рассказывать сказки, разговорчивую, но... очень скоро вы убедитесь в том, что при этом мне было оказано слишком большое доверие, которого я не оправдала.

В третьем классе школа внезапно мне надоела – прежде нравилось поднимать руку раньше всех (она сама выскакивала!), а теперь нет, а ещё больше надоело всё заранее знать, вспоминать и угадывать. И при этом не столько ощущать себя выскочкой из ряда вон (да нет! Моими любимыми героями были Том Сойер и Гек Финн), а остро чувствовать, как другие это замечают и обсуждают. Так как я была младше остальных, то по сравнению с ними была скорее простушкой, меня несложно было обмануть, насмешить (да и подставить) по принципу «покажи пальчик и засмеюсь». Если бы я обладала прирождёнными и явными людскими талантами, любыми – считать в уме, петь песни, ну наконец, доплюнуть до потолка, – меня бы за это в классе уважали. Но мне просто всё легко давалось, и не только по способностям, честно говоря. Они не знали, но я-то знала, что со мной пусть немного, но занимались дома, гуляли по улице Зодчего Росси, ходили иной раз и в Филармонию, и в музеи. И получалось, что я никакой не Гек Финн, а в лучшем случае дочка судьи Тэчера, Бекки.

Но никакой такой Бекки (если не считать толстой и пушистой, пока совсем короткой косы) не было во мне и в помине, я дралась с мальчишками во дворе, отнимая у них, мучителей и пиратов, захваченных ими в плен (для подозрительных экспериментов) малышей и котят – с разбега, что вполне позволяли мне рост и вес. При этом я выдумывала про себя, что мчусь на коне (на самом же деле, разумеется, на своих двоих), и врезавшись своей массой в их ряды, отнимала кого-то маленького, плачущего или пищущего. Ведь эти дворовые мальчишки-сверстники были всё ещё ниже меня ростом, они были тощими и недокормленными, они разбегались с руганью, но при случае совершали ответные отмстительные набеги.

Мы были послевоенные, шальные и огрубевшие, росли как трава сквозь асфальт, а мир вокруг казался ещё немного контуженным, но вполне при этом живым и только чуточку странным.

Ещё он вспоминается мне чёрно-белым, но ярким, а в то же время – и каким-то ободраным. Ярким, но вместе с тем загущёванным и прикрытым, как старая мебель при переезде на дачу (на *ничью* дачу, которую то ли долго разрушали, то ли строили, но достроить всё не получалось). На дворе о войне больше всего напоминали низенькие дровяные сараи, выстроенные сразу после неё или ещё в конце... А где-то в дачной местности (любой, где угодно) ещё повсюду попадались мины в воде и на берегу озёр, скелеты и каски в оврагах и уйма безадресной, непонятого назначения колючей проволоки...

И ещё мир казался мне таким, как в детской игре-присказке тех лет: «„Да“ и „нет“ не говорите, чёрного и белого не называйте, красного и синего не покупайте», – и действительно, разговаривать о многом было категорически нельзя. В нём, недоремонтированном, находящемся в состоянии послевоенной реконструкции, не было пока для детей места – внутреннего и душевно мирного. Да и времени не было на «пожалеть кого-то», кроме котёнка, или плачущего малыша, или себя (что не поощрялось). Нет, такого не водилось в нашем дворе и коммунальках, это было под запретом, здесь действовали железные законы равенства в очередях: там отстоял, получил и пошёл, а здесь, впрочем, вроде бы пришёл и остался, ладно уж...

Но непонятным образом в квартирах для каждого соседского ребёнка находилась – и чаще не от избытка, а от явного недостатка, – тарелка супа с куском хлеба.

И не принято было (вслух или как-то ещё) жалеть пьяного и безногого, матерящегося инвалида войны дядю Васю, то есть можно было, но в глубине души. А в глубине этой я почему-то не умела, жалость просто замораживалась чувством страха. А уж пожалеть его сына Серёжку, пьющего в девять лет, второгодника, грубияна, а порой и садиста, – ну уж это, что называется... Это было – ум за разум, выше крыши. Одну только ответную (классовую?!) ненависть могла бы вызвать такая жалость, вероятно, и у него самого, но, впрочем, никто ведь и не пробовал.

Надо сказать, что и меня никто не хвалил, не любил и не жалел в этом, пожалуй, и не мирке, а всё же внешнем мире, состоящем из класса, лестниц и двора.

Учительницу нашу Антонину Георгиевну, псевдоинтеллигентную даму достаточно преклонных лет, похожую на последние фотографии Н. К. Крупской, раздражало и даже оскорбляло не столько моё всезнайство, а в основном то, что и другие взрослые, а не только она одна, называли непредсказуемостью. (Видимо, это была какая-то смесь из необязательности, беспомощности и рассеянности, которая казалась им просто притворством в маленькой девочке с отличной памятью, сообразительностью, а порой, хотя и редко, внезапно проявлявшейся реакцией совсем неопытного, но хваткого бульдожки).

Шёл предпоследний год раздельного обучения, и в третьем «а» классе были одни девочки. Однако девочек с бантами, похожих на героиню фильма «Первоклассница» (по пьесе драматурга Евгения Шварца), было совсем немного. Многие, как и я, хотели быть девочками и мальчиками одновременно, да и были по сути дела, скорее последними. «Мальчишенки» же среди нас встречались разные, в том числе и примерные ученицы, как брат Тома Сойера Сид, и совсем не примерные, вплоть до дважды и трижды второгодниц, щеголявших шпанистым и беспризорным шармом конца сороковых, уже безвозвратно прошедших.

Среди нас, конечно же, имелись две круглые отличницы и несколько хорошо успевающих девочек из интеллигентных семей, и мамы старались подружить нас, приглашая на дни рождения и просто к чаю. Но, увы, мне было с ними неинтересно, а они меня даже чурались чуть ли не с негодованием. В том, что я за полчаса и ничуть не стараясь схватываю то, на что им приходилось тратить намного больше времени, они видели в лучшем случае силовой «фокус-покус», грубый вызов, а в худшем – что-то вроде нечистой силы.

А потом, они не увлекались ни Марком Твенем, ни Жюлем Верном, ни Майн Ридом, не дрались во дворе с настоящими мальчишками, и вообще их дома научили быть девочками – существами аккуратными и собранными. Кроме них, были ещё другие, неоперившиеся

и только как бы всё поступающие в школу девочки-«малышки». Они любили, когда я рассказывала им сказки, но не хотели играть в Гека Финна и Миссисипи, ограничиваясь Айболитом и Африкой, и вообще побаивались моей репутации. Ещё было несколько обособленных девочек, то есть тоже отличающихся от других чем-то своим, но скрытных и скроенных на свой (а не на мой) лад. Года через два мы могли бы подружиться или заинтересовать друг друга, но только не теперь. Сейчас каждой из нас нужно было доказать и подтвердить *своё* право на существование.

Примерно треть класса составляли большие девочки, старше остальных на 2–3 года: немногие из них поступили в школу позже, а большинство не раз оставалось на второй год. Если у них не было «крепкой семьи» (такой, где кто-нибудь из взрослых зарабатывает и не пьёт), они среди нас не задерживались, а быстро попадали в интернаты и ПТУ.

С одной такой девочкой – её звали Валею – я подружилась (внезапно и неожиданно), с досады на отсутствие подруг, хотя некоторую роль тут, впрочем, играли её новизна и экзотика. Уж у неё-то точно нашлись бы общие знакомые если не с самим Геком, то с его папашей. Прогулять урок-другой вместе с ней ничего не стоило, ей можно было гулять повсюду, по Фонтанке и везде, так что до Летнего сада мы с ней не дошли просто случайно.

К сожалению, время, отмеренное для знакомства, оказалось коротким, и всё кончилось детским Екатерининским. (Мне мама разрешала гулять одной только в первом дворе и в маленьком сквере у Владимирской церкви через площадь – в местах, где меня было видно из окон.)

Итак, вместо последних уроков мы с Валею через Щербаков переулок, минуя коней Клодта и почти не побывав на Невском, дошли до Аничкова дворца. И вскоре оказались в самом небольшом из городских садов, в центре которого возвышалась огромная статуя императрицы Екатерины Второй (Катарини Секунды на языке Древнего Рима), в кругу сподвижников, на высоком колоколообразном постаменте.

Статуя (я ещё невежественно подумала тогда, что слово «статная» происходит от статуи) и её окружение парили в тяжёлом и звонком декабрьском воздухе. Её обледенелый пьедестал (тоненький, гладкий лёд совершенно сливался с полированным гранитом) отчасти заменял нам в ту зиму, непрерывно сыплющую снегом, аттракционы и прочие будущие утехи парков культуры – с него скатывались, как с крутой ледяной горки, умеючи и как попало, лишь бы хватило сил забраться хоть на полметра, трудней же всего было забраться повыше. В тот день, не только, как уже сказано, снежный, но и довольно морозный, он был с утра окружён мгновенно застывающими и почему-то ещё не убранными сугробами, среди которых были и бесповоротно затвердевшие, высокие и гребнистые, и не такие давние, и просто свежие, мягкие холмики. По всем ним мы как-то умудрялись забираться на цоколь, а если падали, то старались куда помягче. Как только мы не скатывались с этого взятого штурмом хотя бы на полметра, абсолютно скользкого гранита: как с горки, столбиком, ласточкой, даже и «на санках» (из веток, связанных кое-как), при этом всегда стремглав, – и, разумеется, это продолжалось одно лишь мгновение, зато бесценное и восхитительное.

После того как мы несколько раз так скатились (я – в основном кубарем, Валя – столбиком), мы обе пришли в великолепное настроение и начали болтать всякий вздор и хвастаться. День был ослепительный, облачный и солнечный, и несмотря на минус то ли пять, то ли все пятнадцать градусов, в воздухе пахло свеженакрахмаленным бельём, как это бывает (как известно) перед самой весной – при всём торжестве и великолепии зимы. Была всё же одна досадная мелочь, которая могла бы привлечь моё внимание и даже остановить. Мой большой палец в порванной варежке попал в узенькую щербинку в цоколе, ушибся и посинел. Но радостное опьянение этим днём было куда сильнее боли, и язык мой всё болтал, как маленький «раз-зав!-вязавшийся» колокольчик, болтал на свою большую беду.

Мы с Вале́й, в сущности, не только мало знали друг друга, но и совсем не слушали, наши колокольчики звенели совершенно независимо, а уши настрожены не были. Отболтавшись и устыдившись своего весёленького, эйфорически тщеславного состояния, мы должны были выкинуть каждая какой-нибудь финт (быть может, и обидный немножко, но не больше) и разбежаться по домам. Однако во все времена, а в те особенно, уши имели фильтр или избирательную сигнальную систему тревоги (и трезвости). Например, если бы Валя сказала, что она американская шпионка, я обязательно услышала бы эти слова, хотя едва ли отнеслась бы к ним – во всяком случае, в первый момент – серьёзно.

Но где-то отложилось бы: нас так воспитывали, так натаскивали в школе – как щенков, которые обязаны реагировать. А вопрос, всерьёз ли, и следует ли говорить воспитателям и учителям, находился в более личном плане и мог решаться с большей степенью свободы.

...Я не бывала ни разу американской шпионкой в своём богатом воображении, но фантазёркой определённо была и позволяла себе в «полётах наяву» многое. С Вале́й, бывшей старше меня на три года, дочерью соседней (не нашей) дворничихи, я была знакома – в смысле сближения – день или два, не больше. Но это не мешало моему колокольчику весело звенеть в унисон с Валиным и в частности брякнуть что-то вроде: «Ты говоришь, что вождь святой, а я знаю, что у Сталина было четыре жены. Он достаточно стар и вряд ли на ком-то ещё женится, но у него колоссальный выбор, – только посмотри вокруг: хороших, да что там – прекрасных женщин так много!» (Кстати, как уже было сказано, в саду в это время дня преобладали бабушки и няни.)

Я не знаю, не помню даже толком, что же именно из всего этого я сказала на самом деле, да и могла ли вообще ляпнуть столько. Как бы там ни было, сказанного оказалось более чем достаточно, и оно было – даже и по моим меркам – нелепым... Произнеся это, я в ужасе замолчала – «ну сморозила!», – своим молчанием резко выделяя значимость сказанного. Два наших колокольчика вместе вполне способны были составить один испорченный (вдрызг!) телефон. Вот в каком виде моё выдающееся сообщение дошло до всей школы, начиная от нянечки Алевтины, подруги Валиной мамы, и кончая учительницей Антониной Георгиевной: «Любая первая встречная – на улице – симпатичная женщина вполне достойна быть женой товарища Сталина!» Иными словами, глупейшее и циничнейшее оскорбление величия из возможных.

Так, кружась и звеня под зорким, как у Афины с совой, взглядом мудрой императрицы, также являвшейся символом величия государства, в кругу её псевдодоброжелательной улыбки («Всем сестрам по серьгам», – как говаривала она когда-то), я чуть не разбила вдребезги (но не об этот постамент, а о другой, – повсеместно присутствовавший в нашей жизни памятник вождю) мой новенький и блестящий, звонкий, замкнутый и счастливый кокон детства. Он был любовно свит мной из прочитанных книжек, обрывков маминых арий и всяческого, как золотого, так и отнюдь не стоящего, а просто приглянувшегося мне мишурного сора (из моих, перефразируя А. А. Ахматову, ещё и не проклянувшихся даже, но уже – от незнания – «стыда не ведающих» будущих стихов, которых ещё и в помине не было!). И он был так славно обжит, этот «Кокон»⁸ во всём его золочёно-ёлочном и игрушечно-бьющемся очаровании.

Но как не вовремя и в каком враждебном мире чуть не лишилась я шаткой своей защиты! Участь птенца, доигравшегося и выпавшего из гнезда на холод.

Стоял декабрь 1952 года, шло дело врачей, готовились «жилые вагончики» в Биробиджане, а также и закрытые вагоны для отправки туда... Многие инженеры старше моего отца по возрасту и чину были уволены с работы, моя мама только что вылечилась от туберкулёза и ещё числилась в иждивенках.

...Ближе к вечеру я пошла в школу за забытым портфелем, а там попала в руки самой «нашей» нянечке Алевтине, и уж она, эта добрейшая тётя Аля, колотила меня им (а заодно

⁸ О котором речь впереди.

и своим старым зонтом) сколько хотела больно по голове и орала: «Ещё и Вальку в дела эти впутываешь!»

А на следующий день, но, к счастью, раньше отца к нам домой пожаловала учительница. Она была похожа одновременно на классную даму и на фурию – даже серый пучок волос, слегка дрожавший под шляпкой, был фуриозен, не говоря об остальном. И сказала она вот что: «Ваша дочь сама себя посадила, да и вас с мужем тоже. Она всё сделала, чтобы посадить и меня, но со мной просчиталась: я уже сообщила обо всём куда следует».

Антонина Георгиевна недаром была в прошлом завучем, проработав учителем более тридцати лет. С нами, малышами, она ещё только как бы входила в преддверие пенсии (опытных учителей не хватало, и работать она могла бы спокойно чуть ли не до восьмидесяти).

Своё слово в отношении меня она сдержала – и с завтрашнего же дня начались всеобщие дружные издевательства. Класс заходил вокруг меня ходуном; сбить с меня – и в её присутствии также, то есть особенно! – очки, обругать нецензурно вполголоса, смеяться, передразнивать, приписывать мне любую пропажу – всё было можно, всё было хорошо. Объяснение же и оправдание этому или «общее мнение от лица педагога» найдено было простое: «Она ненормальная и её скоро посадят!»

При этом Антонина Георгиевна настолько видеть меня больше не могла, что позволяла – в разумных пределах – пропускать уроки и продолжала ставить хорошие оценки, вполне, впрочем, заслуженные, так как школьную программу первых четырёх лет я знала с опережением. Иными словами, до того не могла, что даже относилась объективно, хотя (а может, и потому что) я едва ли была способна это оценить.

...Итак, всё это, как и для многих пострадавших в 1950-е годы, объяснялось культом личности (каралось даже то, что люди по неосторожности наступили на газету с портретом вождя, – всё это давно всем известно), а также моей эксцентрической способностью говорить что попало.

Но – не совсем и не только что попало. На самом-то деле на душе у меня накипело нечто, мне самой не слишком понятное, но связанное в том числе и с тем, что в классе девочки непрерывно доносят учительнице друг на друга, а она их за это «любит и хвалит». А также и с тем, что о товарище Сталине нужно было либо не говорить вообще, либо говорить, как бы стоя на вытыжку (а детям – как бы встав на цыпочки).

А тут, у постамента, где мы так беспечно резвились, ни о каком «стоянии смиренно» не могло быть и речи. Вот мне и показалось, что можно дать себе волю и обиняком (так как в моём детском сознании личная жизнь взрослых ещё находилась где-то на далёкой обочине и говорить о ней позволено было только вскользь) – взять и высказаться...

Вскоре наступил Новый год и начались каникулы – целых десять дней, срок достаточно долгий, чтобы вторая половина декабря показалась мне кратким кошмарным сном, но тем горше было пробуждение в середине января. Когда к человеку любого возраста, ребёнок он, взрослый или старик, приходят беда или испытание, то они имеют и свои пределы. Но при этом никто обычно не знает ни их условий, ни главного – продолжительности.

А основной вопрос при этом – «насколько у меня хватит сил?», или «когда я сломаюсь и поползу перед ними?», или «когда я просто упаду?».

Мама не рассказывала отцу о визите учительницы до середины февраля: она боялась, к тому же он то и дело уезжал в командировки – это был его способ сопротивляться чрезмерному усложнению жизни вокруг. Но для меня самым скверным из всего произошедшего было именно то, что из-за меня могут посадить родителей. Ведь я не читала газет, от меня вообще многое скрывали, про биробиджанские вагончики я просто не знала. Но зато знала назубок, что проболтаться в школе о чём-то из случайно услышанного дома значит подтвердить худшие опасения близких. И тут мама не то чтобы оказалась на стороне моих мучителей – нет, она не могла осуждать меня: для этого она слишком за меня боялась, я была её единственным ребён-

ком, для неё – самым уязвимым, нервным, странно впечатлительным на свете. Но она ничего не понимала и не хотела знать, для неё это был «сумасшедший дом в классе и в городе». И я скрывала от неё всё происходящее, кроме участвовавших синяков и ушибов, а она изо всех сил старалась не видеть моих потерянных и затравленных глаз. Она страшилась за меня, но не могла вынести и вместить многого. И в частности, того, как это я умудрилась вообще *что-то* сказать, не важно, глупое или умное, но, как ей казалось, «высунуться, поднять голову» перед лицом власти, той непреодолимой силы, которой она, в бытность свою маленькой одинокой девочкой Розочкой, привыкла бояться больше всего на свете. Так что ей приходилось склонять своё цветущее личико до земли, лишь бы только отпустили, пропустили и не погубили...

Но совсем иначе отнёсся к случившемуся со мной её отец, мой дедушка. Что он был за человек и какова была собственная его судьба, я расскажу потом (см. «Семейные истории и фотографии»). А сейчас скажу лишь, что он гораздо лучше моих образованных родителей понимал (хотя бы в общих чертах) то, что происходило вокруг и всем нам угрожало. Не только нам (и семьям как наша), а всем нам «как классу», да и множеству других людей, непонятно каким образом попавших «на этот этап эпохи». Он также говорил моим родителям (сам никак не будучи специалистом в области техники), что грозовой атмосферный разряд всегда находит наиболее слабую и уязвимую точку в доме, если она есть. И что такой точкой естественнее всего может оказаться душа ребёнка. Дед не жил с нами, но всегда почему-то оказывался у нас, когда был нужен, особенно если отец был в командировке. И в эти страшные месяцы – январь, февраль, март (разумеется, не менее страшные и для него, так как он всё понимал) – всё это время наши глаза, столь по-разному видевшие мир, не отрывались друг от друга, и мои – обезумевшие, измученные – читали в его, лучисто скорбных, надмирных и ласковых, неизменно одно и то же: «Майне мейделе» (моя девочка. – *иди*) и «не бойся» – слова, которые вслух он произносил редко. Его сердце было всё время обращено ко мне, и это спасало. Я не знаю, чего это ему стоило, ведь ему было уже под восемьдесят...

А потом наступило то раннее утро. Громкоговорители кричали с шести утра, и люди, множество людей в пальто и шубах уже стояли на тёмных улицах, когда я проснулась. День был будний, школу не отменили, но вместо занятий шла гражданская панихида прощания с вождём (как и на всех предприятиях города). Я не помню, кто из них – мама или дедушка – провожал меня до школы: сама я идти боялась. Помню, что мама, как и почти все вокруг, искренне и горько плакала. В актовом зале (он же и спортивный, и вообще единственный) плакали почти все – учителя, дети-доносчики и дети-жертвы, плакали малышки и второгодницы (среди последних и будущие уголовницы), плакали нянечка Алевтина и моя «приятельница» Валя. Впрочем, лили слёзы, надо сказать, не все, но мы, равнодушно застывшие, резко выделялись.

О чём думали они, мои немногочисленные и невольные соучастницы, я не знала. О чём думала я сама, глядя на его громадный, в четверть стены портрет, окружённый чёрными лентами и свежесрезанными (зимой) цветами? Кажется, я ничего плохого ни тогда, ни раньше о нём вообще не думала. В нашем семейном представлении у него было грубоватое, с хитринкой, восточное и «архетипное» (как сказали бы сейчас) лицо, простое лицо человека, который отвечает за всё и является Отцом Отечества.

Ненависть? Но к кому и к чему? К государству, к отчизне, которую олицетворял для таких как мы этот усталый старый человек? Нет, ничего подобного не только не было, но и не могло быть. (Кстати, о его четырёх жёнах я ровным счётом ничего не знала, «где-то, как-то и что-то» слышала сквозь сон.) Меня укладывали спать в девять вечера и я мгновенно засыпала, а у родителей жизнь продолжалась за полночь. В комнате был личный телефон отца для связи с главком в Москве, иногда заходили знакомые. Я просыпалась позже – ночью, около двух, потом через некоторое время снова засыпала, слыша дыхание родителей. И всё же кое-

что из их разговоров обрывками просачивалось в моё спящее «бес»-сознание, но естественно и безо всякого понятия. Впрочем, мои уши были в некотором отношении сродни кошачьим или антенне приёмника (ловили и сквозь сон всё подряд – наверное, потому, что им всё тогда было интересно).

...Нет, казалось бы, не существовало никакой прямой, понятной сознанию связи между лицом человека на портрете, увитом чёрными лентами, и доносами в нашей школе, и тем ужасом, который мне довелось пережить в последние месяцы и недели. Но лицо это нас приучили любить, а из меня это уже было выбито, выколочено (но я тогда этого ещё не знала).

...И были некий странный холод в душе и явное нежелание плакать вместе с моими учителями. Было ощущение, что образ вождя от их слёз странным образом расплывается, расплывается, как будто происходила быстрая замена (и подмена): сначала живой человек на портрете, потом его чугунно-чёрный памятник, потом он отодвигался в какую-то другую часть площади, или сквера, или даже двора, и наконец – или это снилось мне наяву? – он становился бюстом из папье-маше на обшарпанном зелёном сукне, чем-то (по отношению ко всем вообще, а не только ко мне) безликим и безразличным.

Впрочем, чувство глубокого безразличия, смешанного с крайней усталостью и страхом, было у меня тогда постоянно, оно просто усилилось и дошло до предела в тот день. И ещё: я впервые на самом деле (а не по внушению извне) поняла, что чем-то отличаюсь от других детей – чем-то, мне самой едва ли понятным и ведомым. К своему глубокому прискорбию и сожалению, ведь это так трудно исправить (хотя всё возможно Богу, как считал мой дедушка), я поняла – не сразу, а недели через две – то, чего не в силах была осознать в ту минуту. Что души моей тогда коснулось многовековое и кровное непощение обид, основанное, как ни странно, на страдальческом их долготерпении.

Глава прерывается

Отступление 1-е⁹

Его, как и последующие, расскажет человек, давно ставший взрослым (да, взрослое и совершенно уже другое «я» той маленькой девочки, о которой только что шла речь, позволит себе вмешаться в ход повествования). Теперь «я взрослая» достояю на этой гражданской панихиде оставшиеся минуты вместо неё и спокойно подумаю. Не *вместе* с ней, она так думать не могла, а *вместо* неё.

...Упомянутое непощение... нельзя назвать его чем-то сугубо национальным, русским или еврейским. Много было сказано о том, что евреи плохо умеют прощать, про русских тоже говорят, что они, как коренные, долго запрягают (терпят?), но зато быстро везут, хотя это всё же, пожалуй, что-то другое.

А этот узкий кусок (клинок) льда, осевший тогда на дно моей души и неведомо как глубоко и надолго готовый застрять в ней, пожалуй, не был сравним ни с личным чувством обиды, ни со вспышками общего, коллективного, и даже общенародного гнева, раскаты которого неоднократно сотрясали русскую историю и так явственно и отчётливо слышны в Увертюре «1812 год» П. И. Чайковского.

Человек, которого провожали тогда в последний путь повсеместно, о котором скорбела Россия послевоенных лет... Но пройдёт так мало времени – и годовщину его смерти «все»

⁹ Впоследствии будет немало кратких отступлений, но в отличие от больших (и немногих), они будут называться просто остановками.

забудут, а некоторые даже будут праздновать, уже ни от кого не таясь. А среди последних – и избранные: например, Анна Андреевна Ахматова, Иосиф Бродский с Евгением Рейном и друзьями будут собираться в этот вечер и пить с огромным облегчением и благодарностью за то, что событие это всё же произошло, так как для них оно было смертью Злодея с большой (и даже огромной) буквы. Но можно ли вообще праздновать похороны, чьи бы там ни было, не слишком ли много мрачной торжественности, идущей от вышеупомянутой гражданской церемонии, при этом проскальзывает и присутствует, как тень, омрачая застолье? Ответ совсем не прост, но его отчасти дал сам Бог в дате события смерти Сталина.

Эта дата совпала с праздником Пурим того самого 1953 (по нашему летоисчислению) года, праздником не только еврейским, но и ветхозаветным, и стало быть, как часть библейского предания, принадлежащим всему человечеству. Речь идёт о празднике в честь того, что «когда-тошнего» Злодея с большой буквы – правда, не самого царя персидского, а его великого визиря, подговорившего царя убить целый народ, – взяли да и повесили: «Узнай, Амман!» (так тебе и надо!)¹⁰ – раз и навсегда. Этот праздник чаще всего приходится на месяц март, но следует учесть, что ветхозаветный календарь испокон веков подвижен (подвижен, впрочем, и православный календарь в ту часть года – на стыке конца зимы, коротенькой весны и начала лета. Но для России это всегда преддверие весны, а потом придёт и сама весна, которая продолжится от Великого Поста и до летней Троицы – Пятидесятницы).

Поэтому в последующие годы эта дата не совпадала с изменчивым по своей сути праздником Пурим (ибо в этот день происходили не только мажорные, но и трагические события), да и само название «Пурим» в переводе с иврита звучит как «судьбы, жребии», что далеко не всегда радостно.

Но согласно древнему обычаю, Пурим – дни карнавала. Да, как ни странно, в память смерти Злодея принято радоваться, танцевать и пить, но ни в коем случае не серьёзно, не торжественно, а напротив – беспечно, смеясь при этом и над собой. Порой дело кончается тем, что в смехе как бы теряется сама граница между добром и злом, злодеем и героем (вернее, та граница познания добра и зла, которая доступна человеку?). Карнавал? Нелепое празднование похорон? Да, пожалуй. Но сама вечность незаметно садится при этом за стол и учит тому, что все мы ещё лишь подростки с разной внешностью, что не нужно нам иной раз быть столь серьёзными, что надо на какое-то время о чём-то забыть – и в том числе о тех невесёлых загадках жизни и истории, которые мы называем «её ужасами».

Забыть? Но у меня, давно уже взрослой, до сих пор «ёжится кожа» на тех суставных сгибах, где по ней пробегал мороз (на локтевых и шейном) при одном воспоминании о страхе и издевательствах, пережитых в конце 1953-го да и в последующий год.

И у меня, разумеется, нет ни малейшего ответа на эти вопросы; пожалуй, его и не найти...

Смерть Сталина была событием серьёзнейшим, но никто из нас (кроме, может быть, моего деда?) не представлял себе, что ожидает нас в году 1954-м, да и вообще в будущем.

А теперь пора вспомнить о той маленькой девочке, на это краткое время ещё не пытаюсь вновь ею стать. У меня-неё не было никакого представления, никаких мыслей о том, кем был в действительности И. В. Сталин. Однако в тот день я-она поняла что-то очень важное, именно не узнала, а интуитивно поняла, – и это определило моё отношение к нему на всю оставшуюся жизнь.

А всё, что я впоследствии постепенно узнавала, только подтверждало и укрепляло это... мнение? Нет. Подозрение? Да нет. Пожалуй, всё же именно представление.

Когда оно сложилось и стало чем-то определённым (примерно к двадцати годам), я уже знала, что у Сталина были разные профили, из них как бы два основных – справа и слева.

¹⁰ Амман – имя персидского злодея. Но то, что на иврите звучит как «узнай, Амман», означает всего лишь название печенья к этому празднику («уши Аммана»). Откуда оно взялось, не знаю.

Если посмотреть с правой стороны (с российско-эмигрантской, первой волны, после Гражданской) – хищный профиль хазарского кагана (он же и царь Ирод Великий). А если посмотреть со стороны противоположной (левой и в своё время коммунистически настроенной, но также к тому времени не только натворившей дел, но и натерпевшейся и претерпевшей) – профиль египетского фараона из другой ветхозаветной истории: о Моисее и Исходе из Египта. И оба профиля были угаданы верно – в нём была и макиавеллическая (завораживающая) хитрость первого восточного деспота из короткой династии Иродов, и бесконечное высокомерие фараона, земного бога, обрекающего на смерть и рабство, переселения и каторгу миллионы людей, личности и народы.

Но для более полного, а значит, и более истинного понимания важнее было постараться увидеть это лицо не только в профиль, но и в наиболее чёткий из его полуанфасов. И тогда – прежде всего, раньше и больше всевозможных личин – оно оказывалось лицом отступника. Человека, не просто утратившего веру в Бога – определённую, конфессиональную, – а резко порвавшего с Богом, ушедшего из семинарии сразу в революцию (причём в такие её крайности, как террор и экспроприаторский грабёж), поправшего и разорвавшего перед этим в открытую оба Завета – и Ветхий, и Новый. То «обезбоживание», которое у других происходило в течение двух, а то и трёх поколений рода, в его жизни свершилось за какие-нибудь полгода или полчаса. Он и был человеком исторической минуты, всего лишь, но эта его «минута» продлилась отчего-то тридцать лет, а не два-три года, как у Робеспьера или у великого предшественника Ленина.

Но в духе антиномии (не марксистской) тут же возникает и другой его полуанфас – Великого Инквизитора из легенды в «Братьях Карамазовых» Достоевского...

И пока что не надо больше о нём, ведь мы остаёмся в пятидесятых – и вот чугунного литья, с коваными копытами битюги уже умчали его катафалк в те глубины Преисподней (возможно, левые? Или правые? Да разве *это* важно?), о которых в своё время писал Дант и где он, быть может, и продолжает над кем-нибудь властвовать, но да минует нас чаша сия, как миновала в этой жизни. Кони мчатся тяжеломерно и стремительно сквозь этот день в навсегда. «Узнай» – и прощай же, – «Амман».

(Перерыв в Отступлении на вечер этого дня)

... Я вернусь ненадолго в вечер того же дня, когда я впервые увидела дедушку молящимся торжественно и радостно, в чёрном старом сюртуке и в чёрной же, слегка потёртой на сгибах полей, шляпе. Он молился со слезами на глазах, а я думала: «Что с ним? Отчего он так? Почему мне так невыносимо тяжело, а он...» Дед не только впервые молился при мне открыто, он зажёл свечи, поставил на стол хрустальные «кубки» – как в сказке! – и бутылку красного вина, которое предложил из «кубка» (это был старинный резной высокий стакан с фигурной подставкой и витой ручкой) пригубить и мне...

Но он никогда потом не отмечал годовщину этого дня. Он говорил со мной в тот вечер как с большой, и мне стало при этом намного легче, почти хорошо. Но больше половины сказанного, как часто бывало у нас во время серьёзных разговоров, я не поняла. Запомнилась только фраза: «В наши дни, пожалуй, никого уже нельзя проклинать, кроме человека, поднявшего руку с целью насилия и убийства на ребёнка – от новорождённого и старше». И я пыталась вдуматься (но безуспешно), о чём же он так серьёзно говорит. Но не уверена, что вполне понимаю его и сейчас.

Отступление 1-е, продолжение

... Но так как большую часть этого отступления пишет (приходится повторить) человек давно уже взрослый, ограничиться этим, пожалуй, нельзя. Пуримшпиль¹¹ с участием Фараона

¹¹ Действо, представление праздника Пурим (*идши*).

и Великого Инквизитора – да, для нашей семьи всё, быть может, этим и ограничилось бы, кончившись относительно хорошо...

А для Отчизны, для огромной и великой России? Нельзя забывать ни о чём: он был и Божиим бичом для неё, её новейшим Агтилой, но он же был для неё и тем, с чьим именем («За Родину! За Сталина!») умирали солдаты в Великую, вторую по счёту за два века Отечественную войну. Неоднозначность и многоликость этой исторической личности – своего рода Емельяна Пугачёва, последнего мужицкого царя, но не простого, а «идеологического Самозванца», оказавшегося надолго на вершине власти, «мятежника и вора», по определению старинному и законному, однако же, выигравшего непонятно как и «ими же веши судьбами» великую народную войну вместо законных царей... Эта неоднозначность – не сродни ли она исторической загадке самой России?

Российский народ выносил татарское иго почти триста лет, затем полтораста лет выходил из него, но до конца так и не отошёл, ибо закончилось это Иоанном Грозным, прекращением династии (по мужской линии) и Смутой.

Затем почти триста лет он нёс на себе всё «крепчающее» крепостное право, выйти из которого, по сути дела, даже не то чтобы не сумел, а не имел на это исторического времени. При том, что восхваляемые в наши дни столыпинские реформы разрушали крестьянскую общину и подрывали не только те силы на самовосстановление, которые народ, к тому времени успел собрать, но и сами его исторические устои, те «три кита», которых, по большому счёту, не коснулись ни татарское иго, ни крепостное право...

Мне скажут высокомерно: «Опять вы про этот первобытно-общинный строй?» Да, многие так думали, так считали марксисты и Плеханов слева... А справа – Столыпин и растущие земельные магнаты, но «из сказки-то слова не выкинешь». К тому же никакие не сказочные, а евангельские общины первых веков апостольской церкви существовали ведь исторически, но первобытными никак не были.

Всё не так просто, как многим из нас хотелось бы, и крестьянский («христьянский», но с явной примесью слова «крест») русский мир не даром хранил, хотя бы в заскорузлой, ограниченной и замершей форме, эти корни, начаток христианско-общинной жизни в течение долгих веков. Это определяло во многом и его, и всей России национальное историческое самосознание.

«Мужицкий последний царь» Иосиф Сталин не придумал колхозы – он вообще ничего не придумал и не открыл: он просто соединил – кое-как и как пришлось – аракчеевские поселения с уцелевшей легендой об этой крестьянско-общинной жизни (а на самом-то деле с реальностью крепостного права) и осовременил это соединение – так и получились колхозы. Это не было талантливо, но... Да в чём же дело, откуда это «но» всё-таки берётся?

И тут выплывает совсем другое, идущее от мыслей Достоевского. Быть может, народ всё же, опомнившись, нуждался в искуплении своей вины (смута, богоборчество, разрушение храмов) и в наказании – на уровне коллективного бессознательного? Всеобщий, общинный разбой и – потом – общее искупление? Вспомним рассказ одного из персонажей Достоевского, странника Макара Ивановича, о солдате, которого присяжные за убийство оправдали, а он после этого взял да и повесился? (А послали б на каторгу – остался бы жив?) Рассказ этот не выдуман; вероятно, он взят из газет, как случай из жизни.

Не был ли весь сталинский строй этой коллективной, колхозно-лагерной, но в общем-то, быть может, и потребной тогда для российского народа каторгой, той «общей участи чашей»¹², которая мало кого в те времена миновала?

Не было ли это (на всё том же общенародном и бессознательном уровне) чем-то неизбежным? И более понятным для народа тогда, чем, быть может, в наши дни, когда происходит

¹² Из стихотворения автора.

запоздалый возврат к капитализму, столь же противоестественному для российского сознания, как революционно-доктринёрский и насильственный «социализм» двадцатых годов? И народ вновь чувствует себя Иваном-дураком, обманутым и выставляемым, да ещё и напоказ, из родного дома?...

Да, ни о чём не следует забывать, и мы не знаем, чем кончится всё это в наши дни, не прогремит ли вновь, как гремела она с 1941 по 1945 год, знаменитая увертюра П. И. Чайковского «1812 год»? Впрочем, в России-то гремела именно она и родственная ей музыкальная стихия (а не бунтовская их подмена) – в патриотических Отечественных войнах...

В 1941-м война началась с того, что человек этот, вождь, обратился ко всей стране со словами: «Братья и сёстры!» – и страна поверила ему несмотря ни на что. Но не было у него самого ни братьев, ни сестёр, ведь он ещё в бытность свою семинаристом отрёкся от их родства и от Бога. А затем «искоренял» в довоенные годы все конфессии как таковые, православие в первую очередь. Боролся, как полумифический арабский султан Саладин (пожалуй, ещё один его полуанфас), не только с крестоносцами, но и с самим Крестом Господним.¹³

Не из-за того ли, что никаких «братьев и сестёр» на самом деле у него не было, мы, послевоенные, в большинстве своём остались по-настоящему без родных братьев и сестёр, множество детей так и не родилось на свет, а мы оказались «волчатами наших дворов» (в стране же всё продолжались, как при нём до войны, так и после него, повальные аборты)...

Два великих русских писателя советской эпохи (в тридцатых) смотрели на него с куда более идеалистически отвлечённых точек зрения – и, более того, с покорно-фатальной влюблённостью, создавая из него, пожалуй, нечто большее, чем упомянутые профили и полуанфасы.

Булгаков писал отчасти с него образ Воланда, смахивающего как мух всяческих «лихоедеевых» (фамилия не случайная!) с лица земли и «куда подальше» и презирающего людей (людишек?) во имя высшей идеи державной власти и миропорядка.

Пастернак заворожённо мечтал о том, чтобы «поговорить с ним о жизни и смерти», как будто он знал о них нечто трансцендентное и доступное лишь пониманию вождя и гения. Но Булгаков жил недолго, а Пастернак в старости вспоминал об этом с мучительным стыдом.

Впрочем, поговаривают, что сложнее обстояло дело и с Булгаковым, что он разделял мнение Зарубежной церкви, основанное на дивеевских и оптинских предсказаниях о приходе к власти предтеч Антихриста. После чего вполне возможно и фантастическое, краткое посещение России *самим*¹⁴...

...И получается, что и со всероссийской точки зрения остаются, пожалуй, всё те же литые чугунные, постаментные битюги с тяжеленными подковами, продолжающие мчать его в глубь той или другой (правой или левой, что не столь важно) частей Преисподней. А Отечество наше продолжает нести свой крест и держать ответ перед Богом...

Отступление 1-е окончено

¹³ Согласно арабскому апокрифическому преданию, в битве с крестоносцами, принесшей ему победу, Саладин разрубил Крест Господень на мелкие части, которые потом были собраны и разосланы по храмам христианских стран.

¹⁴ Самим Антихристом.

Глава первая. (продолжается бегом, чтобы поскорее кончиться, да только это у неё не получится)

Итак, этот день пришёл, произошёл – а затем и прошёл. И несмотря ни на что, следующей осенью я всё же оказалась в одном из кружков Дворца пионеров, но почему-то не в литературном, а в театральном (меня перехватили из-за высокого роста – на эпизодические «взрослые» роли из нескольких слов), а мне было всё равно. С полнейшим безразличием проходила я мимо памятника Великой Екатерине на пути туда и обратно, а травля и охота на меня в классе продолжались, с перерывами и с переменным успехом, пока в середине осени, но только уж пятого класса, я не упала без сознания в прихожей, собираясь в гастроном с пустым молочным бидоном в руках.

Незадолго перед этим я болела свинкой и не вполне ещё поправилась, а то, что случилось, было непредсказуемым развитием болезни. В детской больнице Раухфуса первые два дня говорили о состоянии шока, а потом заговорили об энцефалите как осложнении после свинки. Выписали меня через два месяца с туманным диагнозом «псевдоэнцефалит». В больнице этой, приходя в себя с трудом, я впервые за полтора с лишком года, прошедшие после случая с Валентиной и тётей Алей, жила наконец-то обыкновенной и даже обычной жизнью, подружилась с одной девочкой, помогала умыть и кормить малышкой. И часами рассказывала им сказки, а им всё было мало, они ходили за мной и требовали ещё. Это был пик достигнутой мной в жизни популярности. Но я как-то этого не заметила (при всём своём самолюбии), ведь мне так нужны были тогда всего лишь отдых и человеческое тепло.

Впрочем, справедливости ради должна сказать, что некоторое смягчение моей участи началось ещё в четвёртом классе. Наш новый завуч и будущая учительница литературы (именуемая старшими школьниками просто Евгешей) как-то раз, проходя мимо меня, выставленной из класса в коридор со свежим синяком на лбу, взяла и увела куда-то в закуток. И вдруг, крайне для меня неожиданно – до испуга – обняла, сама при этом плача и лаская мою короткую косу со словами: «Потерпи ещё совсем немножко, моя хорошая».

Новые веяния давали себя знать, но вот четвёртый класс пролетел – медленно ли, быстро, но он кончался. И нас уже соединяли с мальчиками, а с ними пришёл и двор-второгодник (блатной мир второго и третьего дворов), и началась весенняя «вакханалия».

Почему родители не перевели меня в другую школу ещё той, первой весной? Да потому, что меня ни в какую нормальную школу и не взяли бы, на мне было клеймо, я «была поставлена на учёт там, где следует» и должна была ожидать перевода в специнтернат с последующей (со временем) высылкой в лагерь.

Впрочем, всё это было до выписки из больницы, а затем многое начало изменяться, – об этом потом...

Выздоровливая, я почти перестала расти, я так и не стала великаншей, не оправдав ожиданий, хотя долго ещё была одной из самых высоких девочек в классе, где училась до окончания школы, до выпускного бала. Училась в среднем на «хорошо», если не считать перерыва в пятом, когда пришлось догонять класс после болезни. Меня давно уж и не обижали (почему – и об этом позже, в своё время), и всё же история эта имела конец, во многом отличающийся от хэппи-энда.

...Но интерес к жизни возвращался, вернулись одна за другой и её радости, началась иная пора – полоса моих «безумных» увлечений: вначале Эрмитажем, его зачарованным миром, затем трофейными кинолентами, которые прокатывали тогда совсем близко от дома, в кинотеатре «Титан», а затем и настоящей историей в Публичной библиотеке для школьников на Фонтанке. Не вполне как предметом, а казалось бы, всерьёз... но, увы, и с поисками в ней всё тех же сюжетных линий, сиюминутных и вечных, как бы из серий кино...

Появились из-за кулис подружки, друзья, новые и старые ...и всё это напоминало немного ту постановку из нескольких сказок сразу, то попурри из Андерсена в театральном кружке Дворца пионеров, где я исполняла сразу несколько мелких, почти немых ролей. И в частности, дефилировала в перешитом мамой из немецкой трофейной шторы длинном хвостатом платье фрейлины по залу. И сидя за роялем, играла, делая вид, что пою (пела по-настоящему преподавательница музыки): «Ах, майн либер Августин, всё прошло, прошло»...

Такова была вкратце и вчерне моя «самая страшная сказка», к отдельным эпизодам которой я не раз вернусь. Я рассказала её содержание вопреки всем законам повествования, требующим, чтобы читатель ничего заранее не знал. Однако всё оказалось иначе, и не только потому, что хэппи-энда не получилось. Да, моя собственная детская сказка в своё время кончилась, но ничто не прошло, и сколько всего несчастно-счастливого было ещё связано с ней впереди.

Да и всё, сказанное здесь напоследок, говорилось совсем не для того, чтобы предварить. Нет, лишь чтобы на время прервать, отложить продолжение и окончание...

Дело в том, что мне хотелось бы прежде рассказать немного о доме, где я росла, о родителях, в частности о маме и о моём единственном деде (мамином отце) Илье Израилевиче. А также и о том родственно-близком и дальне-разном окружении, не будь которого, я была бы иной, и всё кончилось бы для меня то ли лучше (или хуже), то ли просто иначе. Ведь кроме внешнего школьно-дворового мира и «кокона» моего детства существовали ещё и вполне обитаемые, реальные внешне-внутренние миры. Например, мир нашей большой коммунальной квартиры, а в ней – мир комнаты и уклада нашей семьи.

«Семейные истории и фотографии» (О семейном укладе и о наших «домах» в коммуналках)

Посвящается И. Д. Л-цу

Конечно, уклад семьи тоже был уязвим, и всё же рядом с ним мой «кокон» был как скорлупа пёстрого живого яичка по сравнению с устойчиво поставленным яйцом, выточенным из самоцветного камня. Впрочем, и это «яйцо», попади оно под гусеницы танков или брёвна лесоповалов, конечно, не уцелело бы, но ему относительно повезло...

Мне следовало бы начать эту часть книги с родного дома на Владимирской, главенствующего центра моей детской жизни (и этой повести), но пока что ограничусь словами Окуджавы «К нему-то всё, как видно, и вернётся».

Были и ещё два дома, где я была своей, а не просто частой гостьей: комната бабушки на Петроградской и комнаты сестры отца, тёти Сони, на Васильевском.

Но не по старшинству и не по предпочтению (хотя быть может, и следовало бы так) я начну с бабушкиного дома. А всего лишь по той простой причине, что все ранние, но связанные и последовательные мои воспоминания, да и первые яркие, но нечёткие снимки памяти, несомненно относятся к нему. И что в его присутствии они стали отчётливее, проявились и закрепились.

Рассказ первый. Снимки дедушки и его домашнего уклада (а заодно и о моём раннем детстве)

1. Ранние снимки

Итак, первые снимки памяти связаны с ним, но они до такой степени «архаичны», что мне придётся начать рассказ о деде с самого начала моей собственной жизни, крайне неясного и туманного.

И поневоле получится, что это только вступление темы дедушки, неотрывно вписанное в первые – сначала два года, а затем и шесть-семь лет – моей жизни.

Если верить рассказам родственников и любительским фотографиям из реально существующего альбома (до школы и событий, вкратце описанных выше), я была жизнерадостной, общительной и открытой девочкой, но сама я этого совсем не помню.

Сохранился один очень старый подлинный снимок, сделанный в 1946-м, в первое послевоенное лето. На нём дед (я звала его «дедя, дединька!»), ещё очень худой и истощённый после войны, но радостный и трогательный старик, лежит в гамаке на даче во Всеволожске, не просто держа, а слегка подбрасывая меня на руках. Так, что я парю над ним невысоко, как толстенькое, но немножко эфемерное существо вроде Питера Пэна¹⁵ или просто из мира птах. Всё сколько-нибудь интересное о себе до двух лет я узнавала благодаря деду. Для него было важно всё, что ко мне относится, например то, что начиная примерно с шести месяцев, я упорно пыталась заговорить, но меня вначале никто, кроме него (из-за моих естественно плохих дикции и русского) не понимал. Пока я говорила вещи, весьма для младенца обыкновенные, такие как «Ине дать!», например (называя при этом себя Иней), понимания окружающих было мне вполне достаточно.

Но после семи месяцев от роду я стала пытаться выговаривать более сложные слова. Дедушка очень мне сочувствовал, он и сам говорил по-русски недостаточно чисто и правильно, с отдельными местечковыми словечками и акцентом, от которых так и не избавился до конца. Но он счёл нужным обратить внимание мамы на то, как, показывая на лампочку, я изо всех сил стараюсь выговорить «элек-три-ка». После этого она стала чаще со мной разговаривать, мы учились понимать друг друга, и она старательно исправляла мои ранние речевые заскоки.

Понимала ли я дедушку так же хорошо, как он меня? Нет, нужно сознаться, что будучи в семье наиболее родным мне по духу, он только на первых порах был мне совершенно понятен, а после (и чем дальше – тем более) нередко выходило так, что именно он как раз и оказывался самым таинственным из всех моих ближайших знакомцев.

Дружба наша зиждилась изначально на взаимопонимании не то чтобы достаточном (согласно языку математики), а наименее необходимейшем, на уровне «Джейн – Тарзан» из популярного в те годы фильма (который, кстати, меня невольно заставили смотреть слишком рано – мама не могла ходить в кино без меня. Так что я не поняла в его сюжете ничего, кроме самого главного и ещё – комического и страшного).

Но ещё крепче стояла она на том, что мы безо всякого труда, легко и естественно доставляли друг другу радость, как это бывает только у влюблённых на первой стадии романа и у малышей со стариками, – но избирательно и далеко не всегда. Ребёнок, как правило, вовсе не глуп в своей инстинктивной любви, он знает, кто ему больше всех полезен и нужен (мама), кто в семье всех сильнее (отец) и на кого просто хочется быть похожим. Но если у него есть

¹⁵ Питер Пэн (один из популярнейших в детской мировой литературе) – герой повести Д. М. Барри «Питер Пэн и Венди».

возможность, он выбирает себе кого-то и для души. Например, в романе Диккенса «Домби и сын» у малыша Поля, потерявшего маму при рождении, был большой круг «друзей и почитателей», но для души он выбрал себе няню-кормилицу, простодушную Полли Тудль, лишившись которой, он почему-то даже больше страдал и болел, чем после первой и самой важной своей потери. (Хотя, конечно, он не остался без детского питания тех дней, когда трава, воздух, коровы и, наконец, молоко были получше нынешних.)

Я тоже выбрала дедушку не как образец для подражания и не как самого нужного (и из нужды любимого) члена семьи, а просто для души. Но конечно же, он всегда был и нужен нам с мамой как никто другой...

И так как любовь возникла в раннем детстве, о котором не осталось связных и разумных воспоминаний, придётся перейти к стёртым любительским эпизодам из живого альбома памяти. (Все близкие звали меня тогда Иринкой, а дедушка – нет, он часто обращался ко мне более своеобразно и ласково, а приструнивая, строго говорил Ира.). Нужно сказать, что среди снимков есть, казалось бы, более бледные и далёкие, но очень ясные. Память начала фиксировать их ещё в «детское время», но свои особенности они сохраняли и позже, это своего рода монологи из давних лет. Отделив их от остальных, я назову их отголосками, они были сделаны ребёнком, а затем и подростком, но я не стану восстанавливать в них детскость, а оставлю их такими, какие у меня есть сейчас.

Отголоски ранних лет

Дедушка живёт довольно далеко от нас – на Петроградской, на углу Кронверкского и Зверинской. Последняя была названа не просто так, а потому что там, где тянется узкий, длинный сад (частично ограждённый решёткой от шумных трамвайных рельсов), находится Зоопарк, в котором есть множество настоящих зверей. Каждый раз я упрашиваю дедушку зайти на «пять минуток» в Зоо во время наших прогулок, и почти каждый раз он соглашается, хотя денег на билеты у нас с ним нет (меня ведь отправляли к нему на день-два с продуктами и мелочью на проезд). Ни с кем впоследствии я так не любила (да и не хотела) туда ходить. Звери при дедушке ведут себя, как и я, общительно и безбоязненно, хотя, разумеется, нас от них отделяют клетки и другие меры предосторожности.

И тем не менее в этих прогулках по Зоопарку было немного (а много ли мне было нужно!) и от театра Дурова, мне тогда, естественно, неизвестного. Кто-то из зверей резвился вблизи, кто-то (большой мишка) протягивал сквозь прутья решётки лапу, с одним из тюленей мы вместе по очереди неуклюже (в мои три года) прыгали, слона можно было кормить булкой из рук, лев (львёнок?) рычал совершенно по-свойски, не очень страшно, а побаивалась я только тигров. (И боялась змей, конечно, но в серпентарий мы и не ходили.) Мы бывали в Зоо и по субботам, и в будние дни – во время наших выходов из дома (от часа дня до трёх), когда посетителей было очень мало, но и тогда наше общение с миром зверей было всё же не единоличным, кто-нибудь из детей и взрослых был рядом, так выходило даже веселей.

Дедушка не позволял мне проводить там столько времени, сколько мне бы хотелось, и получалось, что даже в лучшие дни мы гуляли и вне Зоо, в узком и длинном саду около часа. Дедушка прихрамывал при ходьбе, он опирался на суковатую и как бы отполированную временем, с моей точки зрения совершенно восхитительную палку. Иногда он садился на скамейку, ставил палку рядом с собой и задумывался. У меня было негласно установленное право играть с ней, но только поблизости. При этом палка (прекрасная и сама по себе) почему-то немедленно превращалась в небольшого и смиренного, деревянного, но резвого пони, удобного и удивительно понятливого, даже быстрого. И мы с палкой пони скакали, и не всегда умели вовремя остановиться, а иногда, напротив, усакивали далеко и мчались стрелой по длинной садовой стороне улицы.

В таких случаях дедушка нас не звал, он просто вставал и поспешно шёл за нами, но при этом сильно прихрамывал. Каждый раз, когда я так забывалась, я ещё не успевала вспомнить о нём, как уже издали видела его, спешащего ко мне (и как всегда, прямого и лёгкого), но явно хромого. Краска стыда неизменно обжигала мне лицо, бывали и случаи, что я плакала, умоляя его простить меня, при том, что он и не думал сердиться. Он молчал, так же мало реагируя на то, что считал сентиментальностью, как и на самую мою выходку, но молчал спокойно и благодушно. И наконец (какое облегчение!) просто, как всегда, улыбался мне, и улыбка эта означала «мы с тобой друзья».

Дедушкина комната, в которой он жил вместе с одинокой старшей дочерью, моей тётёй Беллой (или Бэбой), почти такая же большая, как наша, по сравнению с ней казалась почти спартанской и была обставлена довольно скудно. В ней стояла мебель недорогая, плохо починенная, отчасти старинная, но также и обыкновенно (или неказисто) советская. В комнате было много пространства, не заставленного ничем, что меня очень радовало. К тому же в ней среди других имелись очень интересные старые вещи, которых у нас не было: например, печь-голландка с настоящей каминной полкой и большим устьем и четвероногий стол, небольшой, но с массивной квадратно-скруглённой столешницей. За этим столом дед обычно сидел и читал, но он был и обеденным. Он выглядел бы без скатерти беднее, обшарпаннее нашего круглого раздвижного стола из орехового дерева и гораздо беднее трофейного письменного стола моего отца (с бронзовой лисой на круглой мраморной подставке). Но он был чем-то лучше их, таких столов я нигде больше не видела. На нём стояли большая лампа и коллекция крымских раковин, одна в другой (тётя называла самую большую и плоскую из них пепельницей, но никто туда ничего не бросал). На дедушкином рабочем месте (как бы угол, но в четверть стола) никогда не обедали, скатерть с клеёнкой под ней кончались, не доходя до него.

Там помимо двух-трёх обычных книг неизменно лежала большая двухтомная Библия (как мне казалось, два кирпича в коричневой телячьей коже) на двух языках, иврите и русском, изданная то ли в Риге, то ли в Германии, так что и какие-то вкрапления немецкого в ней тоже были.

В комнате были и другие достопримечательности, одна из них – старые чёрные настенные часы с потускневшей позолотой на циферблате и большим маятником, который казался мне золотым, но отнюдь таковым не был, зато отстукивал секунды очень отчётливо, напоминая этим, как ни грустно, метроном времён блокады. Но стук его сопровождался лёгким стрёкотом, почти незаметным, таким же звонким и тихим, как у маминой швейной машинки «Зингер», которую отец называл «кузнечихой» (от кузнечика). Часы казались мне очень строгими (такие чёрные, длинные, узкие), но и уютными, они были вполне соприродны дедушке и его «письменному уголку».

.....

Сейчас я подумала, что дед, быть может, и не всегда был тем кротким и спокойным человеком, каким я его вспоминаю. Ему выпала очень трудная жизнь, в ней несомненно бывали моменты гнева, тревоги и печали, а в молодости он обладал исключительной физической силой, и его пышные каштановые усы на фотопортрете более чем сорокалетней давности, которые просто восхищали меня и казались не то генеральскими, не то вообще чуть ли не императорскими, – на самом деле в те времена, когда они были в моде, назывались всего лишь фельдфебельскими... Мог ли он быть тогда военным, например? Странно, но я как-то не могла себе этого представить.

2. История дедушки

Краткая биографическая справка

Вот то немногое из его биографии, чем я располагаю как краткой справкой: родился в 1877 году в семье раввина (из потомственных хасидов) в посёлке Хиславичи на Смоленщине. Был старшим из детей и шестнадцати лет потерял родителей, оставивших ему домик, сад и пятерых своих младших. И он бросил учиться на раввина (как было ему предназначено сызмальства) и пошёл сначала в извоз, а потом долгие годы перевозил лошадей в спецвагонах по железным дорогам всей России. Так, разъезжая с табунами по рельсам, он и «поставил на ноги» всех братьев и сестёр, притом основательно: один из мальчиков выучился на инженера, старшая из сестёр – на врача. Но высшее образование не было обязательным: младшая всю жизнь проработала маникюршей, а другая, несколько лет поучившись в гимназии, просто вышла замуж за будущего учёного-математика («породив малую отрасль» детей и внуков, занимавшихся этой наукой на протяжении чуть ли не всего двадцатого века).

Сам дед женился поздно, в возрасте порядком за тридцать, невеста ждала его несколько лет, она была (по хасидским понятиям) родовита и могла выйти замуж только за человека «из хорошей семьи». Они мало знали, хотя и долго ждали друг друга, романа у них не было, любовь и согласие были чисто супружескими.

.....

Своих собственных детей, начавших появляться на свет незадолго до Первой мировой, они поставить на ноги не успели: старшему из сыновей только исполнилось семнадцать, когда моих деда и бабушку объявили лишенцами¹⁶ и сослали на север, за посёлок Выры¹⁷ вблизи Ладожского озера.

Это было во время коллективизации, когда изничтожали крестьянство как сословие (а заодно и пригородное мещанство с домиками и коровами заканчивало своё недолгое и не то чтобы независимое, но ещё не беспаспортное по форме существование).

Дом в пригороде Смоленска с садом, лошадьё, коровами (и «мелочью» вроде домашней птицы) дедушка купил вместо отцовского домика ещё до Первой мировой, служа на железной дороге. После Октябрьской революции должность его была то ли упразднена, то ли передана в ведение Красной армии, к которой он отношения не имел. Пенсии ему не полагалось, жили они, как и все вокруг, пригородной жизнью, кормились своим двором, молоком и садом, что-то из продуктов продавали, деду делали заказы на продукты. Торговля была мелкой, дети помогали разносить молоко и яйца по домам. Когда взялись за эту «социальную прослойку», то до него дошли быстро: не потому, что был из обеспеченных или в чём-либо замечен, – просто он был личностью, а таких обязательно брали. Сыграло свою роль и то, что дед не подумал отречься от веры, хотя был и не из тех, кто выставляет её напоказ. Но по субботам он неизменно надевал свой долгополый чёрный сюртук и не слишком новую чёрную шляпу, отправляясь в далёкую синагогу. Этого, наряду с «дворовладением», хватило для доноса, суда и ссылки.

Они прожили вблизи Выры на Ладоге более десяти лет и, как ни странно, там прижились, хотя в первые годы у дедушки что-то случилось с ногой на лесоповале. Ему было уже больше пятидесяти пяти, он сломал и очень сильно застудил ногу, долго не мог ходить. Но к тому

¹⁶ Лишенцы – люди, лишённые прав собственности, гражданства и работы, как правило, высланные.

¹⁷ Со слов деда такой посёлок до войны существовал (независимо от Выры в Гатчинском р-не). Сохранился ли он после войны и как называется теперь, не знаю.

времени его младший брат (военный инженер) выхлопотал, чтобы деду заменили работу в трудовом лагере на простую ссылку в той же Выре...

Так они и стали жить: снова кормились огородом, дед рыбачил всерьёз, у них впервые в жизни появилось свободное время. Дети присылали им с оказиями книги, и он осуществил свою давнишнюю мечту, состоявшую из двух почти, но не совсем равноправных частей. Первая и главная заключалась в продолжении более глубокого изучения Торы¹⁸ (и вообще Библии), в том приобщении к ней, по которому он томился ожиданием более тридцати лет. Вторая была связана с давно задуманным изучением русского языка и углублением знакомства с отечественной литературой.

Как ни удивительно, всё это удалось им с бабушкой вполне, и мой высокообразованный отец, слегка иронизировавший над местечковыми особенностями дедушкиного русского устного, уважал, однако, литературные вкусы тестя и его круг чтения. Чехов, Толстой, мемуары, путешествия – всё это было обычно для людей его поколения, но не для местечка, где он прожил первую часть своей жизни. А бабушка Сима училась понемногу вместе с ним, и вышло так, что хотя первое время ссылки было для них тяжёлым (и они чуть не погибли), зато последние шесть лет оказались благоприятными.

По внешнему виду и образу жизни дед почти ничем от остальных жителей посёлка не отличался: волосы у него были каштановые с преобладающей сединой, глаза серые. Чёрный лапсердак он больше не носил, но продолжал соблюдать всё, что было положено по вере втайне (так это было и до конца его дней). Соседи, раньше в глаза не видывавшие евреев, принимали их за белорусских староверов.

Дети писали им всё чаще, тоска была взаимной, но при этом все четверо птенцов были уже вместе, жили дружно и друг друга поддерживали.

...Поднимать младших немедленно, через неделю после высылки родителей, приехала старшая из его сестёр, одинокая тётя Вера, всю жизнь работавшая врачом (двое же старших почти сразу уехали учиться в Ленинград, начав с техникумов). Она была очень хорошим человеком и терпеливо доростила младших до окончания школы. Моя мама, четвёртая, была всеобщей любимицей, её тогда звали Розочкой (полное имя Рахиль). Она была послушной, хорошо училась в школе, в пятнадцать лет с успехом выступала в городской самодеятельности, а в семнадцать перебралась с тётей Верой к старшим брату и сестре в Ленинград, где закончила школу и через два года поступила в Консерваторию (на вечернее). Но вспоминать свои несамостоятельные и доконсерваторские годы она не любила и мне о них не рассказывала (к тётя Вере это отношения не имело).

Шаг в сторону

Как-то раз, сама уже став большой (но ещё не студенткой), я узнала – дедушки уже не было в живых, – что им всем четверым в разное время пришлось отречься от родителей и при этом иной раз чуть ли не «валиться в ногах у начальства» для того, чтобы уехать из Смоленска и стать «вольными», а не потомственно ссыльными (то есть лишенцами). Но всё это было вымучено для вида, Ленинград же был выбран, чтобы иметь возможность изредка видеться с родителями и пересылать им посылки с оказиями, а не только почтой. Ещё не закончив институт, но уже работая инженером-строителем, старший из сыновей Зяма вместе с дядей Михаилом, тем самым военным инженером, стал их «выхлопывать». В конце концов им удалось их вызволить и перевезти в Ленинград.

¹⁸ Тора – Пятикнижие Моисеево. Но в иудаизме принято также называть Торой и всю Библию.

И мама выходила замуж за моего отца в двадцать два года, живя вместе с родителями на Зверинской. Но всё это было уже в конце тридцатых, во время Финской войны, а когда началась Отечественная, бабушка тихо, но твёрдо ответила маме на просьбу уехать с ней в эвакуацию: «Куда же мне будут писать с фронта сыновья?».

Итак, трудлагерь, ссылка с лишением прав (гражданства и собственности), короткий перерыв, затем ленинградская блокада – такова была вторая часть дедушкиной жизни, и ничего другого могло бы просто и не быть, но почему-то произошло чудо. В войну, как известно из рассказов очевидцев, происходило немало чудес. Дядя Зяма лежал после тяжёлого ранения в госпитале под Ленинградом, находясь без сознания более двух недель, а тем временем пришла следовавшая за ним, но всё никак его не догонявшая полевая почта с письмами от родителей и мольбами о помощи.

Очнувшись и встав на следующий же день, он (тогда уже майор по званию) наконец получил их и, невзирая на запреты врачей, без разрешения начальства, вообще не думая о том, во что это может ему обойтись, нашёл своего шофёра в том же госпитале. И на старом «газике», в бинтах они прорвались в город на Петроградскую сторону. Там он нашёл отца и сестру, обоих при смерти, и узнал от них, что «мама (моя бабушка Сима) умерла вчера, и её увезли в общую могилу неведомо куда». Не знаю, что он тогда чувствовал и пережил, но не медля ни минуты, он вывез дедушку и тётю по только ещё образующейся, обстреливаемой Ладожской дороге, сдал их в ближайший медсанбат с новосибирским адресом моих родителей, оформив им железно-дорожные билеты и необходимые документы. И в тот же день (или сутки) успел вернуться в госпиталь, где ещё некоторое время долечивался перед фронтом.

Дедушка был в это время как бы без сознания (тётя Белла так и повезла его в Новосибирск), а придя в себя, он несколько дней тихо плакал. Под Новосибирском, живя у моих родителей, он ещё целый год болел и приходил в себя медленно, ему было уже почти семьдесят. С едой и там было плохо, правда, к их приезду мамой было насыщено несколько мешков сухарей, они полагались к чаю не только как дополнительное питание, но и как своего рода десерт с ледяным (его держали зимой за окном) бруснично-клюквенным вареньем без сахара. У самой мамы давно началась дистрофия, у отца – голодный фурункулёз, посёлок Кривощёково ничем не походил на «хлебный город» Ташкент, а инженерный состав одной из крупнейших сибирских ТЭЦ кормили не намного лучше, чем зэка... Правда, тётю Беллу, как блокадницу, удалось устроить в поселковую столовую подавальщицей (официанток там не было), и ей было легче, чем им.

...Свою послевоенную жизнь, крайне скромную, нелёгкую, даже бедную, он воспринимал как долгий, ясный субботний вечер, до которого не думал и не гадал дожить: все его дети остались живы, родилась внучка. Это был эпилог его жизни, заключительная глава, и у него было только одно неисполненное желание – чтобы меня назвали в честь покойной бабушки Серафимой, Симой...

Остановка

Сейчас, когда всё ещё пишут – нет, не в России, а преимущественно в Европе, в мире, – о жертвах Катастрофы (Холокоста), в том числе и об уцелевших, иными словами – об осколках бывшего европейского еврейства, не обходится без переборов. В одной такой книжке воспоминаний мне случилось прочесть, как мама автора, человек праведный, говаривала: «Самой злой собаке – самый большой кусок мяса». Я не могу судить о степени дедушкиной праведности (хотя тоже считаю его в глубине души праведником, только малым и скромным), а также о его правоверии, ведь я не понимала в этом ничего (он же ничего особенного вообще не делал, а веровал втайне). Но никогда я ничего подобного от него не слышала, хотя нелишне вспомнить

по этому поводу ставшую сейчас афоризмом цитату из песенки Никитиных «собака бывает кусачей только от жизни собачьей» – я думаю, она ему понравилась бы.

Но вообще-то для дедушки (почему-то?) *почти* и не существовало ни злых (собак ли, соседей), ни хулиганов. Как это? Да вот именно так, и всё, – и это меня в нём изумляло... Удивление моё в таких случаях иной раз выплёскивалось, но этим дело и ограничивалось.

С собаками дело, впрочем, обстояло проще, чем с людьми. Видимо, в его представлении у каждой собаки была не только голова с ушами, но также и хвост, и два бока. Какая-то из этих сторон (многосторонней?) собаки обязательно была совсем не злой, и дедушка проходил мимо неё почему-то как раз с этой стороны. Никакие собаки при этом его не трогали (в прямом и в переносном смысле) и даже ни на кого в его присутствии особенно не лаяли. Хорошо ли это было? Думаю, что да, так как из своей маленькой пенсии кормить их – ни добрых, ни злых – он не смог бы, даже если бы захотел, а вот его внимательного и живого взгляда хватало на всех, в том числе и на собак, самых разных. Впрочем, работал ведь он полжизни с лошадьми, перевозя их и обихаживая. Так и научился понимать то, что поближе к человеку, если не вообще всё живое. Это было в простоте и больше всего напоминало две известные поговорки: «Доброе слово и кошке приятно» и «Даже и кошка смеет взирать на свою королеву» (*старо-англ.*), – но получалось это у него легко и действовало безотказно, а вот у меня – почему-то вовсе нет.

Мне вообще, как я уже писала, многое было не совсем понятно в дедушке, хотя не было человека на вид обычнее и скромнее его. Лет с семи меня стали поражать и некоторые его высказывания, но начиналось это гораздо раньше, ещё в те времена, когда наши беседы были крайне незамысловатыми, а мне было меньше пяти. Суть дела была в том, что он неоднократно пытался заговорить со мной о Боге, а я, замкнувшись в испуге, не думала отзываться...

Облик его совсем не казался нам с мамой возвышенным: его снижали акцент (но без характерной интонации) и маленькие, смешные ошибки в русском языке, которые он делал в общении именно с близкими, причём только в словах книжных или же бытовых, но редко употребляемых в обычной речи. Например, блюдце он так, то есть блюдцем, и называл, но вместо «блюдечко» (для варенья) говорил «блюдко», как в местечке. Возможно, такие словечки были его юмором: ведь едва ли он не мог выговорить слово «бульон» вместо смешного словечка «бильон», похожего на биллион (неслыханное богатство!).

(Прерывается)

Отголоски ранних лет, продолжение

...Итак, опять я играю в комнате, громко и чётко стрекочут стенные часы, а дедушка сидит, читает свои книги на русском и на непонятном языке, делает выписки в одну из больших, как гроссбухи, тетрадей. Всё просто и мирно, большая чёрная качалка с соломенной спинкой – это на самом деле дорожный экипаж, а я – и фореитор на запятках, и кучер (но не лошади!), а также и пассажиры, – конечно, не все сразу, а по очереди, так интересней. Сейчас мы проезжаем городскую заставу Ганновера (братья Гримм)...

Но в какой-то момент я отвлекаюсь от игры и поглядываю на дедушку – и вот мне уже интереснее смотреть на него, чем играть. Он при этом вообще меня не видит, он весь ушёл в свои книги и занятия, а я начинаю тихонько ходить вокруг стола, но вовсе не шалю при этом, а думаю серьёзно: «Чем же так отличается дедушка ото всех, кого я знаю?» Я не могу ответить на этот вопрос, я чего-то не понимаю, а знаю только, что дедушка – самый таинственный из всех, самый старинный, и мне здорово с ним повезло. Моё непонимание почему-то приносит мне не больше огорчения, чем незнание языка иврит, на котором напечатаны оба толстенных тома Библии.

Ну и пусть, ведь мы с ним говорим на всеобщем языке с самого начала, с самого моего рождения. Это язык, объединяющий людей (взрослых и малышей), животных в Зоо, попутно

и птиц, листву, кусты и траву в саду, это всемирное эсперанто, на котором говорят и серьёзно, и неслышно напевая про себя, и молча. Пусть я не умею на нём ни читать, ни писать, пусть я знаю благодаря дедушке только самые начальные слова, его азы. Я не имею понятия, насколько правильно и свободно на нём говорит он сам, я знаю только, что это – хорошо...

(Прерывается)

Остановка, продолжение

Читатель, привыкший к тому, что всех нас сейчас пичкают всевозможной эзотерикой, не подумай, пожалуйста, что речь идёт о каббалистике или о мировоззрении, ей родственном. Я была рождена под знаком не шестиконечной звезды Давида, а восьмиконечной Вифлеемской звезды, хотя дошло это до меня значительно позднее, да и дедушка мой был всего лишь простым хасидом, он нигде не учился после шестнадцати лет. Нет, ни о какой религиозно-мировоззренческой концепции речи нет. Я говорю лишь о раскрытии осмысленного взаимопонимания на почти доязыковой глубине (существующего, с возможностями развития, как для дикарей и глухонемых, так и для мудрецов), но оно отчего-то так редко встречается, что мы о нём только мечтаем, пока малы, а потом перестаём и помышлять. Может быть, оно осталось ещё с эдемских времён первого человека Адама... Но если ты настолько экстрасенсорно начитан и развит, что сейчас разочарованно протянешь: «Только и всего!» – что ж, мне искренне жаль.

И ещё: всё же эта идиллическая картина субботнего вечера жизни деда в наши дни может показаться недостоверной. Но он принадлежал к определённого типа людей, ныне исчезнувшему (уже ни в России, ни в нынешнем государстве Израиль таких, как он, почти и не встретишь).

Краткое дополнение

Была, впрочем, некая печальная особенность в судьбе таких как он (впрочем, и не совсем таких, да и совсем не таких) в сталинской и раннебольшевистской России (сюда не относится хрущёвский период и далее). Начиная с 1917 года их потомки, молодые еврейские атеисты, нередко достигавшие значительных государственных должностей, относились к этим «предкам» с глубоким презрением, как к живому анахронизму, отсталому элементу, людям, лишённым таких наиважнейших черт, как способность к социальному отщепеню, многовековое злопамятство и оскорблённая гордость. Впрочем, ведь нечто в этом роде в России тогда происходило в любой патриархальной среде...

Но судьба дедушки была всё-таки лучше многих других – его дети не покидали родителей, а всячески вызволяли. До такой степени, что в послевоенные годы платили ему общими усилиями вторую, существенно большую пенсию вдобавок к нищенской, полагавшейся от государства человеку «без стажа».

Совсем другой была судьба моего деда с отцовской стороны – Симона, так и оставшегося мне незнакомым (год смерти 1937-й). Его должны были осудить как «специалиста из бывших», его затаскали в ГПУ, так что он умер своей смертью чисто случайно, не дожив до ареста и суда. Мой отец был его младшим сыном, последним из пяти детей, но «поколения старших сыновей» этот мой дед боялся, что и было одной из причин, заставивших его работать в Зауралье и жить одиноко, продолжая при этом как-то (трудно и бедно) поддерживать семью. Я почти ничего о нём не знаю; жена его, моя бабушка Берта, тоже погибла, но чуть позже, в эвакуации во Владимире, куда уехала со старшим сыном и внучкой, моей любимой кузиной Юной. Могилы обеих моих бабушек безымянны и неизвестны.

.....

Справедливости ради должна добавить, что мой единственный оставшийся в живых дедушка Илья Шагальский никогда не говорил со мной о своей «прошлой жизни». Его краткую биографию я постепенно узнавала от родных годы спустя после его кончины.

3. И ещё о нём, но позже (вплоть до пятого класса)

Во внешности дедушки, который казался мне таким непохожим на других, не было ничего примечательного, если не считать узкой бородки клинышком, которая (вместе с короткими усами) когда-то звалась эспаньолкой. Он был среднего роста, скорее худ и казался чуть выше из-за того, что не сутулился, а держался легко и прямо для своих лет, но он явно был стар, и ещё очень заметны были его большие впалые виски. Он носил тёмные, неброские, слегка поношенные и недорогие костюмы в чуть заметную на фоне ткани полоску, но и они смотрелись на нём «с достоинством». Самая же чудесная его особенность была совершенно незаметна на посторонний взгляд, её замечали только люди, достаточно хорошо и близко с ним знакомые. Она заключалась в том, что самый, казалось бы, обычный серый цвет его глаз отличался необыкновенной, светопоглощающей мягкостью. Мы с мамой называли этот серый, без блеска оттенок цвета пухового платка «серизной». Удивительным бывал порой этот его «иссеро-мягкий» взгляд, то светящийся незаметной, затаённой улыбкой, разумной и согревающей, то уходящий в себя и рассеянно-вдумчивый, как бы издавека¹⁹.

.....

А маме её недолгая жизнь с родителями до отрочества, а потом ещё более короткая (два года между их возвращением и её замужеством), вспоминалась как потерянный рай деликатных и нежных отношений в семье. Известие о смерти матери чуть не убило её, и так еле живую от туберкулёза, сибирских холодов и дистрофии. Она решилась во что бы то ни стало родить ребёнка, даже если это будет стоить ей жизни, во имя своей ушедшей мамы, бабушки Симы. Таким же по сути было и её отношение к деду. Они, как правило, не говорили ни о чём особенном, в основном о мелочах – о том, как прошёл день, об очередях и покупках, вообще о разных маловажных вещах, психологических и бытовых. Даже и вспоминали они чаще всего мелкие, казалось бы, события, понимая друг друга с полуслова. Но из любви она научилась понимать (хотя едва ли принимать) язык его теологии, а он (хотя едва ли серьёзно вникая в это) – её речи о музыке и театре.

К мужу, моему отцу, она привыкала долго и полюбила не сразу, вначале принимая его как надёжного, опору в жизни и защитника, отвечая ему уважением и благодарностью. Потом у них сложились прекрасные отношения в браке, жизнерадостные и лёгкие, это шло от неё, от её ощущения себя любимой; он называл её Ритёныш, она его в ответ с юмором – Мухой (его рост был метр девяносто, её – метр шестьдесят).

Но ей недоставало нежности, ей хотелось быть также и Бавкидой²⁰ (как её мама). Но отец жил по расписанию и пропадал на работе даже когда был дома, и «офилемонился» он (до некоторой степени) только когда им обоим было под шестьдесят. А отношения с дедушкой позволяли ей быть Бавкидой, пусть лишь в качестве дочери.

Когда ещё дошкольницей в любые (а впоследствии – в летние) дни я просыпалась и вставала позже всех, то сквозь утренний полусон голоса мамы и дедушки сливались для меня в почти голубиное, глубокое, медленное и успокоительное воркование. Мне ничуть не были интересны их беседы, так как говорили они о вещах либо слишком уж повседневных, либо мне непонятных, но тем спокойнее и теплее было у меня на душе от их негромких голосов.

¹⁹ Окончание этой остановки о дедушке (но в средних классах) см. во второй части «Вокруг Владимирской», глава 10.

²⁰ Филемон и Бавкида – нежные супруги (*др.-греч.*).

У дедушки была ещё одна общая черта с мамой – по отношению ко мне. Как и она в своей музыке (но об этом чуть позже), так и он во время наших серьёзных разговоров (с семи лет и старше) старался вложить в мою душу и ум слишком многое, торопился, боялся не успеть, а *она* отчего-то не вмещалось в меня. Говорить об этом преждевременно, но я протестовала, изнемогала и возражала, понимая, что с моей стороны это *бессовестно*, но что притворяться – ещё хуже.

Никак не от самого дедушки, а от его бесед со мной о Боге, которого я боялась, я убегала в женское, в «женский мир», сначала только в Юнин (моей старшей сестры, племянницы отца), находящийся в стадии становления. И так, кружным путём, начинала вновь возвращаться к маме (всё более сближаясь с ней)... Так, переплетаясь, сходилась, расходился и вновь смыкался в поисках друг друга наш родственный многоугольник, как бы вписанный в круг, гибкий и изменчивый в своих очертаниях благодаря переменчивости времени и нашей с Юной невзрелости. Но для меня его центром притяжения долго ещё оставался дедушка. А на последние три года жизни Бог послал ему вторую внучку, Симу, дитя поздно женившегося дяди Зямы (но, увы, по метрической записи не Серафиму, а обладательницу более тогда модного имени – Светлана).

Дед никогда, казалось бы, не был одинок в своей не очень большой семье, старающейся дать ему всё, что она могла. Но вместе с тем, бывая уже подростком с ним – и в комнате на Зверинской, и на даче в Васкелове (где нам с ним досталась общая комнатка-боковушка), я невольно понимала, что бывает гораздо более глубокое и смиренное одиночество (да и проявляющее себя внутренне куда менее бурно), чем моё собственное – подростка в окружающей жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.